

кого. И все посеянное всходило»¹⁴. Заботу о русской «почве» нельзя превращать в славянофильскую «субботу», когда обновление народного строя жизни, просвещение, модернизация хозяйственной и административной сфер воспринимаются как отрицание устоев и нарушение канонов.

Итак, для В.В. Розанова и других интеллигентов-почвенников в Ф.М. Достоевском важна «полноприродность», «русскость», питающаяся многими культурными потоками: Ф.М. Достоевский, «интеллигент XIX века, совершенно слился в ощущении Руси с древнейшими ее насельниками, жившими еще рядом с половцами и начавшими именовать свою землю “Святой Русью”». Тут и православие, тут и язычество. И – христианская Божия Матерь, и – каменные бабы киевских времен. “Всего есть, всячинка”, как вообще в быту»¹⁵. Ф.М. Достоевский был дорог В.В. Розанову как гениальный обыватель, для которого Россия – дом, «дорогой, милый, вечный», нуждающийся в заботе и тревоге сердца.

Примечания

¹ Иванов В.И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 318–319.

² Там же. С. 333.

³ Мережковский Д.С. Было и будет. Дневник. 1910–1914; Невоенный дневник. 1914–1916. М., 2001. С. 452.

⁴ Розанов В.В. Сочинения. М., 1990. С. 178.

⁵ Там же. С. 246.

⁶ Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 288.

⁷ Розанов В.В. Сочинения. С. 255.

⁸ Розанов В.В. Собр. соч. Во дворе язычников. М., 1999. С. 53.

⁹ Розанов В.В. Собр. соч. Около церковных стен. М., 1995. С. 132.

¹⁰ Розанов В.В. Сочинения. С. 181.

¹¹ Розанов В.В. Собр. соч. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 440.

¹² Розанов В.В. Собр. соч. Русская государственность и общество. М., 2003. С. 400.

¹³ Розанов В.В. Собр. соч. Около народной души. М., 2003. С. 28.

¹⁴ Розанов В.В. Собр. соч. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 200.

¹⁵ Там же. С. 596.

В.А. Фатеев

В.В. РОЗАНОВ ОБ ИДЕЙНЫХ СПОРАХ Л.Н. ТОЛСТОГО И Н.Н. СТРАХОВА

Отношения Л.Н. Толстого и Н.Н. Страхова интересовали Розанова со времен его эпистолярного знакомства со Страховым в 1888 году – этот критик и философ «почвеннического» направления был одним из наиболее близких друзей творца «Войны и мира» и других выдающихся произведений. Не обремененный семейными заботами, Страхов с наступлением лета обычно отправлялся в Белгород или на Украину к своим родственникам, или в Крым, где жил его друг Н.Я. Данилевский, и почти каждый год не проезжал мимо Ясной Поляны – своего рода Мекки для всех любителей русской словесности, где ему всегда были рады. Отзвуки общения с Толстым постоянно присутствуют в переписке Страхова с Розановым. Особенно запоминаются «тайное желание» Розанова заполучить книгу или фотопортрет писателя, причем непременно с дарственной надписью Толстого; подробный отклик Розанова на апологетическую статью Страхова «По поводу

литературных толков о графе Л.Н. Толстом»; наконец, сообщение о том, что в Ясной Поляне состоялось совместное чтение розановской книги «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского»¹.

Розанов, как известно, и сам в 1903 году побывал в Ясной Поляне. Толстой принял его весьма неохотно, после настойчивых просьб, видимо, уже ранее составив о нем отрицательное впечатление (вспомним хотя бы вызвавшую скандал статью Розанова «По поводу одной тревоги графа Л.Н. Толстого»), а не смог отказать, прежде всего, из уважения к памяти их общего друга Страхова. Эта встреча не оставила особо ярких впечатлений ни у одного, ни у другого, хотя Розанов и написал в 1908 году статью с «дежурными» восторгами по поводу встречи с «Монбланом нашей жизни»² (позже он не раз вспоминал о поездке без особого энтузиазма).

Розанов, подобно многим, восхищался Тол-

стым как автором выдающихся художественных произведений: «Толстого все сочинения я знаю, люблю его, хотя менее Достоевского, но ценю как художника выше его»³. Однако проповедничество писателя, добавившее к его литературной славе еще и скандальную популярность, было для него неприемлемо. Позиция Толстого раздражала его отсутствием должного смирения и самолюбивым возведением собственных идейных разногласий с государством и Церковью до их отрицания. В «Опавших листьях» Розанов включил Толстого (вместе с Вл. Соловьевым и Рачинским) в число лиц ему особенно чуждых: «Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю *самой души* <...> Все три вот и были самообольщены: и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними “водиться” (знаться)»⁴. Показательно, что рядом, в той же записи, Розанов упоминает Страхова среди тех, кто ему особенно близок.

Большая и содержательная переписка Толстого и Страхова, впервые изданная в 1913 году⁵, показывает, что отношения писателя и философа были действительно глубокими и сердечными. Розанов с вниманием следил за этой дружбой, разделяя преклонение Страхова перед литературным гением автора «Войны и мира» и «Анны Карениной». Однако восторги Страхова по поводу религиозных исканий позднего Толстого он встречал сдержанно.

Знакомство Толстого со Страховым, переросшее в дружбу, началось с цикла страховских статей о «Войне и мире»⁶, появлявшихся в печати по мере выхода романа в свет, когда это произведение принималось современниками еще далеко не единодушно. Страхов, который только по недоразумению считается крайне осторожным критиком (вся его творческая жизнь прошла в непримиримых спорах, в отстаивании им своих идей), с самого начала уверенно и аргументированно заявлял о мировом значении «Войны и мира». Именно с замечательных статей Страхова и началась всемирная известность романа. Страхов пророчески писал Толстому вскоре после начала их знакомства: «...если вы и ничего не напишете, вы все-таки останетесь творцом самого оригинального и самого глубокого произведения русской литературы. Когда русского царства не будет, новые народы будут по “Войне и миру” изучать, что за народ были русские»⁷. И его предвидения довольно скоро блестяще оправдались. Например, небезызвестный В.П. Буренин, который в

1870 годы в присущей ему манере не раз ехидничал по поводу литературных оценок «курьезного критика» Страхова, спустя два десятилетия писал: «Г. Страхов по всей справедливости может гордиться тем, что он первый признал и истолковал великого писателя земли русской»⁸. Как отмечают критики, та трактовка толстовского романа, которая впервые была высказана Страховым, со временем стала буквально общепринятой и анонимно просочилась даже в советские школьные учебники.

Дружба между яснополянской знаменитостью и петербургским критиком воспринималась теми, кто недооценивал талант и нравственные качества Страхова, человека скромного и не слишком известного, как нечто почти случайное. Объяснение причин их теплых отношений находили прежде всего в чрезвычайно уважительном отношении Страхова к великому писателю. В печати не раз отмечалось, что Страхов буквально преклонялся перед художественным гением автора «Войны и мира». Н.К. Михайловский писал даже, что Страхова «нельзя себе представить рядом с гр. Толстым иначе как в коленопреклоненной позе»⁹. Вышучивание Страхова за его поклонение Толстому стало общим местом. С годами не критическое отношение Страхова к Толстому, бурлившему новыми и очень спорными идеями, все чаще стало вызывать у окружающих насмешки. Вл. Соловьев, например, не без иронии писал А.А. Фету в 1888 году: «А что подельвает его <Страхова> идол?»¹⁰

Часто Страхова за его пиетет к писателю воспринимали как полного единомышленника Толстого. Иногда их отношения рассматривались с утилитарной точки зрения. Например, историк литературы В.Ф. Лазурский, какое-то время преподававший в семье Толстых в Ясной Поляне и оставивший об этих годах ценные «Дневники», находит объяснение многолетней дружбы Толстого и Страхова прежде всего в «выгодности» для Толстого дружбы с эрудированным Страховым. Сходства во взглядах при этом он почти вовсе не отмечает: «Что же касается его мнений, высказываемых всегда Страховым в форме: “Не знаю, не согласитесь ли вы?” – то на них часто бывают отрицательные ответы»¹¹.

Однако из переписки видно, что и Толстой очень дорожил дружбой со Страховым, явно недооцененным мыслителем и критиком, и не раз открыто выражал ему свои симпатии: «...доро-

гой и единственный духовный друг, Николай Николаич»¹²; «Нынче я говорил жене, что одно из счастливых, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н.Н. Страхов»¹³; «Редко мне приходится с таким ожиданием только одного самого лучшего, с так<ой> искренностью и отсутствием оговорок и задних мыслей звать и ждать кого-нибудь, как жду вас»¹⁴.

Розанов неоднократно рассматривал взаимоотношения Толстого и Страхова как в своих статьях, так и в переписке со старшим другом и наставником. Не разделяя восхищение Страхова религиозными взглядами позднего Толстого, он высказывал ту точку зрения, что эти новые идеи вовсе не были Страхову очень близки, но он продолжал восхищаться тем путем «красоты, добра и правды», которым, по его мнению, все так же шел великий писатель: «Он его деятельность рассматривал в исторической перспективе, т. е. как бы издали и в целом, вовсе не сливался с его “учением”, даже просто – он отвергал его или почти отвергал; во всяком случае, не придавал ему значения. Но *смысл* его учения, но *направление*, в котором пошел Толстой, – его восхищало, вызывало в нем величайший восторг, прямо энтузиазм. Вот – *путь* (т. е. для писателей), как бы говорил он: путь к исканию правды, путь – к Богу; не эти тропинки, по которым бредет Толстой, но это направление, в котором он двинулся (да едва ли, не так себя понимает и сам Толстой? См. его *послесловие* к “Крейцеровой сонате”). Как-то при нем заговорили о “непротивлении злу”. “Да, это очень неясная, очень спорная вещь в его учении”, – проговорил Страхов, видно было, что он даже не давал себе труда вдумываться в нее»¹⁵.

Розанов отвергает мнение, будто Страхов был близок к Толстому по воззрениям, и приводит его отрицательное мнение о «толстовцах»: «В Толстом он видел “страшно ценное для (позитивной дотоле) жизни России явление”, а не то чтобы сам как слушающий и ученик примыкал к Толстому. Последнего не было. Раз, поведя рукой, он сказал безнадежно: “Все последователи Л. Н-ча почему-то тупые люди”. В другой раз он остановил меня: “Вы так резко (устно) нападаете на Толстого, – и это мне печально. Поверьте, я и сам вижу темные в нем стороны, но...” и т.д.»¹⁶. Так что если даже привязанность Страхова к Толстому и приводила критика к не вполне объективным оценкам его идей, она вовсе не носила характер слепого, безрассудного поклонения.

Литературная судьба Страхова сложилась весьма печально. Страхов и до сих пор не получил того высокого места в истории русской культуры, которого он заслуживает, несмотря на то, что Розанов сделал чрезвычайно много для увековечения его памяти. При жизни Страхова главной причиной недооценки была его непримиримая борьба с господствовавшими в общественном мнении «нигилистами», или «революционными демократами», от Добролюбова и Чернышевского до Писарева и Антоновича. Теперь эти идеологи разрушения низвергнуты с искусственно созданного пьедестала. Но недооценка Страхова, прежде всего из-за некоторой рассудочной отвлеченности и сдержанности его писательской манеры, а также из-за печально известного письма к Толстому по поводу Достоевского, продолжается поныне. Вот и «Энтелехия» позволила себе как-то напечатать о Страхове ерническую «реплику» П.П. Резепина, в которой Страхов высмеивается, словно какой-то непорядочный графоман¹⁷. Если автору этой заметки не хватало собственных критических способностей, чтобы более объективно отнестись к масштабу личности и нравственным достоинствам Страхова, то он мог бы обратить внимание на многочисленные отзывы Розанова о Страхове как об умнейшем и благороднейшем человеке, какого он встречал в жизни: «По всемирному, можно сказать, разнообразию областей, его занимающих, и по великой самостоятельности и крепости суждения Страхов составляет гордость нашей литературы, нашего русского ума»¹⁸. «Россия не воспользовалась его мыслями и не взяла его мыслей. Для России он есть молчание. Между тем он есть первоклассный мыслитель, а в жизни и во всех человеческих отношениях – безукоризненная душа»¹⁹.

Вульгарный тон в отношении Страхова не является чем-то исключительным. «Страхов, конечно, не чета Толстому», – небрежно роняет мимоходом пошловатую фразу один из зарубежных критиков в 1970 году²⁰. Конечно, Толстой как творческая личность действительно возвышается неким «Монбланом» – и не только над Страховым. Из притягательности художественного слова, его таинственного влияния на наши души вытекает существующее только в России почти культовое поклонение классикам литературы, и ярким примером этого стал сам Страхов. Однако не будем забывать, что художественный гений Толстого дарован ему от Бога. Писатель вообще –

прежде всего, только сосуд, вместилище для священного дара слова, отпущенного свыше. Толстой же как «человек», как мыслитель с претензией на пророчество – подлежит нашему суду подобно всякому смертному, хотя людям свойственно переносить поклонение литературному кумиру и на их публицистическое и философское творчество.

Между тем, по мнению Розанова, «дар великого художественного воспроизведения жизни никогда не совмещается и не может совместиться с отчетливым, последовательным, методическим мышлением»²¹. И нельзя признать убедительности Розанова, утверждавшего, что гениальный Толстой в отношении умственных способностей и образования – «ниже среднего» и, можно сказать... «не чета Страхову». Эту по-розановски дерзкую мысль можно развить и до такого вывода: по глубине и ясности суждений, по их благородству, по уважению к истине, по эрудиции Страхов стоит на недосягаемом для Толстого уровне. Недаром среди современников, выделявших Страхова и искавших его общения, были, помимо Толстого, А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, А. А. Фет, А. А. Майков, Н. Я. Данилевский, К. Н. Бестужев-Рюмин, В. С. Соловьев.

Искренне любя Толстого, Страхов недоумевал в разговоре с Розановым, как это мыслящие люди не видят достоинств писателя: «Не раз я удивлялся тому, что и вы, и Говоруха-Отрок, и другие пишущие не питают того удивления и расположения к Л. Н. Толстому, как чувствую я? Что за причина? Казалось бы явление до того блистательное и глубокое, что люди умные и чуткие должны очень заинтересоваться»²². Толстой же тем временем, после духовного переворота, всё более упрямо и самонадеянно принимал на себя роль «пророка», низвергающего традиционные религиозные и культурные ценности, но Страхов этой опасной тенденции как-то не замечал. Розанов относил это за счет чарующего обаяния от почти ежегодных *личных* встреч Страхова с Толстым. Сам Розанов хорошо видел, что путь, избранный Толстым-моралистом, вел его к сектанству и нигилизму. Страхов же, наоборот, приветствовал духовный поворот Толстого, надеясь, что своим могучим влиянием великий писатель остановит нигилистические настроения в обществе, особенно среди юношества. Следует отметить, что при жизни Страхова нигилистическая направленность нового учения Толстого не была еще

вполне очевидна. «Однако история нас оправдала и не оправдала Страхова», – пишет Розанов²³.

Тем не менее, уже тогда между Страховым и Толстым подспудно назревали серьезные разногласия, на которые при издании переписки обратил пристальное внимание Розанов. 1 марта 1881 года произошло убийство Александра II – царя, отменившего крепостное право и потому названного «Освободителем». Это потрясшее общество трагическое событие существенно повлияло на отношения Страхова с Толстым. Внешне, впрочем, это происходило почти незаметно. Толстой вознамерился предложить вступившему на престол Александру III по-христиански, монаршей волей, помиловать убийц отца. Письмо к царю он попросил передать именно Страхова, который часто исполнял всевозможные деловые поручения Толстого: подбирал ему нужную литературу, вступал в переговоры с издателями и типографиями, читал корректуры сочинений (в том числе «Войны и мира» и «Анны Карениной»). Страхов попытался доставить толстовское письмо до царя через Победоносцева, но тот прошение подобного содержания передавать Государю отказался. Судя по тому, что Страхов согласился выполнить столь щекотливую просьбу яснополянского друга, в их отношениях, казалось, мало что изменилось.

Однако чуткий Розанов подмечает образовавшуюся тогда трещину в их дружбе. В 1881 году Страхов напечатал в «Руси» И. С. Аксакова четыре письма «О нигилизме»²⁴, и толчком к их написанию послужило как раз то абсурдное обстоятельство, что жертвой террора стал именно «Царь-Освободитель». Страхова часто характеризуют как податливого к чужим влияниям, улыбочивого и уклончивого соглашателя, и в быту он действительно производил такое впечатление. Однако в отстаивании своих идей Страхов был крайне неуступчив.

Этот тихий, скромный человек, созерцатель-книжник был одним из самых активных полемистов своего времени. Страхов положил свою жизнь на борьбу с теми идеями, которые он считал самыми враждебными для России. Отсюда неуклонное отстаивание им высоких духовных истин, провозглашенных еще в статьях о «Войне и мире», непримиримая борьба со всемогущим тогда нигилизмом, заведомо обрекавшая его на неудачную литературную судьбу, «борьба с Западом», ожесточенная полемика с Вл. Соловьевым, спо-

ры со спиритами и дарвинистами...

Кроме того, Страхову была еще присуща благороднейшая черта характера – быть верным памяти своих друзей: он издал сочинения и письма полузабытого А.А. Григорьева, популяризировал его идеи; он неумоимо издавал труды Н.Я. Данилевского и отстаивал их непреходящую ценность. Именно в этом аспекте верности дружбе следует рассматривать и страховскую статью «По поводу литературных толков о графе Л.Н. Толстом»²⁵ в защиту религиозного бунтаря Л.Н. Толстого, при том, что Страхов не вполне разделял его взгляды. Статья, идущая вразрез с оценкой «толстовства» в официальных кругах, имела, конечно, тактический смысл – это, прежде всего, защита *друга* и великого писателя и лишь в незначительной мере единомышленника.

Страхов не вдавался в подробности собственного учения Толстого – этот путь был бы обречен на неудачу, так как со всей очевидностью выявились бы существенные отклонения Толстого от ортодоксального православия. К тому же чисто апологетическую статью никогда не пропустила бы цензура (ранее попытка Страхова поместить эту статью в журнале «Русское обозрение» также встретила цензурные препятствия). Страхов останавливается в своей статье лишь на благородстве мотивов Толстого, на нравственности его личности и отстаивает право такой яркой личности на духовные искания, даже если они ведут к заблуждению. Толстой писал Страхову по поводу его смелой статьи: «...эта ваша статья сблизила меня еще больше с вами самими основами»²⁶.

Розанов так оценил ее в письме к Страхову: «Статья Ваша, насколько я могу оценить, – из лучших, если не лучшая за последние годы Вашего писания и по значительности тем своих, и по выполнению, и, самое главное, по тому, что, так сказать, бьется в центре текущих интересов общества»²⁷. Он надеялся, что появление этой статьи приведет к более открытой и непредвзятой полемике в печати. Что же касается собственно взглядов Толстого, то Розанов в письме на них не останавливается, но очевидно, что они ему чужды.

До крайних антицерковных и антикультурных выступлений Толстого, завершившихся, как известно, скандальным отлучением от Церкви, Страхов не дождал. В комментариях 1913 года к письмам Страхова Розанов упрекал Толстого за радикализм: «...вместо того, чтобы хоть только деликатно продолжать свое отрицание Церкви и

государства, начал это отрицание переводить в шумную гласную ссору...»²⁸

Всех особенно поражало – и это неоднократно отмечал Розанов, – что одаренный художественным чутьем Страхов оставался до конца верным творцу гениальных романов, даже и тогда, когда Толстой, по мнению многих, почти загубил морализаторством свой великий талант. Квинтэссенцией розановского отношения к позднему Толстому стал его знаменитый афоризм из «Опавших листьев»: «Толстой был гениален, но неумен. А при всякой гениальности ум все-таки не мешает»²⁹. В 1910 году Розанов постоянно противопоставлял Толстого-романиста Толстому-проповеднику, высказываясь о последнем весьма скептически: «Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за “Войну и мир”, – он сказал: “Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром”»³⁰.

Розанов откликнулся на издание переписки двумя статьями в «Новом времени»: «Идейные споры Толстого и Страхова»³¹ и «Наброски»³², в которых он решительно встает на сторону Страхова, упрекая Толстого в том, что он злоупотреблял Страховым и что согласия между ними, как принято считать, вовсе не было. В этом есть доля преувеличения: Страхов, конечно, тоже многое получал от дружбы с великим писателем – прежде всего, он вдохновлялся, набирался энергии от общения с могучим талантом, да и популярность его (пусть и небольшая) от этого значительно выросла. Однако собственные его сочинения так и оставались непрочитанными, и менее всего они были нужны настоящим сторонникам Толстого, идейным «толстовцам».

Из всего тематического разнообразия переписки Розанов выделил спор 1880 годов по поводу нигилизма. Страхов и Толстой решительно разошлись в оценке этого явления. Страхов, как отмечает Розанов, отстаивал традиционные ценности, деятельность, направленную на созидание, Толстой же отказывался видеть в исканиях убиенных царя нигилистов «злодеев»-разрушителей. Этот спор, как отмечает Розанов, вскрыл глубокое идейное расхождение консервативного Страхова, неизменно утверждавшего традиционные ценности, и позднего Толстого, который со своими религиозными исканиями «незаметно более и более вовлекается в ту же самую борьбу с положительными идеалами человечества, на защиту которых сам Страхов положил всю свою жизнь».

Розанов пишет далее о существе спора: «Страхов же ясно видел неверность путей, на которые вступает Толстой, потому именно, что Страхов лишен был “творчества из я” и ум его был прикреплен к созерцанию вековечных устоев истории, вечных, так сказать, “стран горизонта”, с которыми и Толстой должен бы сообразовать свое “плавание”, но не сообразовал его, и потому именно, что прямо *не видел* горизонта *дальнего*. Страхов был компас, но только компас; Толстой был паровик, но только паровик. Увы, “дружба” их не вылилась в гармонию “паровика и компаса”; и теперь, когда много времени прошло, видишь, оглядываясь назад, что “новаторство” Толстого было по существу продолжением того “нигилизма”, против которого всю жизнь боролся Страхов; а Страхов был несколько обманут той религиозною оболочкою, в которую был завернут нигилизм Толстого. Страхов с величайшим энтузиазмом приветствовал поворот Толстого к религии и религиозности, – уверенный, что это подействует на наш “старый нигилизм”, свернет его с путей голого отрицания. Но время прошло, и в действительности-то оказалось, что “старый нигилизм” был крепче и выжил, а Толстой в сущности покорился ему в самой религиозности своей, в самых своих исканиях, “где *лучшее*” религии».

При этом Розанов с пониманием относился и к позиции оправдывавшего нигилистов Толстого: «Страхов судит нигилизм как *историческое явление*; судит его под впечатлением 1 марта. Толстой совсем не видит истории и даже не интересуется ею, а судит скорее не “нигилизм”, а “нигилистов”, – с точки зрения на “*запросы души их*”, этих нигилистов, говоря, что они правы, отрицая всю теперешнюю действительность, этот мир форм и мундиров, мир внешности и официальности. Таким образом, спор между “друзьями” происходил в совершенно разной плоскости, и они никак не могли понять друг друга и стовориться».

Цитируя письмо Страхова к Толстому по поводу его давнего знакомства с нигилизмом, Розанов показывает глубокую продуманность воззрений мыслителя и его мрачный взгляд на будущее: «*Этот мир я знаю давно, с 1845 года, когда стал ходить в университет. Петербургский люд с его складом ума и сердца* и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благовестлова, Елисеева и пр. – главных проповедников нигилизма – все это я

близко знаю, видел их развитие, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и прочее. *Тридцать шесть лет я ищу* в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы – *ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела* – и не нахожу, и мое отвращение все усиливается, и меня берет *скорбь и ужас*, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет *только это растет*, тридцать шесть лет *только это может надеяться на будущность*, а все *другое гложет и чахнет*». Драматизма этой литературной борьбе добавляет тот факт, что Страхов, сам выпускник Костромской духовной семинарии, выступает против таких же бывших семинаристов – «этих воистину учителей нигилистической бурсь».

Розанов проводит прямую связь между разрушительной деятельностью литературных идеологов-радикалов и террористов: «В самом деле, “террор” и “террористы”, конечно осуществили в “1-м марте” программу старого “Современника”, старых “Отечественных записок” и “Дела”, *не прибавив*, да и *не желая прибавлять*, ни одной *своей и новой мысли* к атеистической и нигилистической болтовне этих корифеев русской журналистики, по существу совершенно невежественной и только чрезвычайно волевой и напряженной. *В воле*, а не в знании и образовании лежит корень русского и, точнее, семинарского нигилизма». В выступлениях Толстого против Шекспира и Гете, как и в его напаках на Церковь, Розанов находит прямую переключку с нигилистами: «Это – писаревщина», «Это – Чернышевский».

Толстой, заявляет Розанов, по существу встал на защиту нигилистов, утверждая, что «они – идеалисты *по душе*, по порыву, по мечте». Но он решительно не соглашается с писателем: «Однако, *самая мечта-то* не шла дальше Бюхнера и Молешотта, т. е. это была просто философская галимаття, галимаття в *зерне* своем, в способе своего *зарождения*». Розанов подчеркивает деструктивный характер всей их деятельности: «В *миросозерцании* нигилистов, при наилучших их “волевых намерениях”, содержалось, однако, именно *разрушение* и только *разрушение* стройных идейных миров, прежде всего *мира религиозного* и потом *мира политического*». Розанов заключает: «Толстой, уйдя в “чревосмотрение” личного совершенства, внутренних добродетелей, – дошел до раскидывания как какой-то “ненужной поле-

ницы дров” всей старой цивилизации – церкви, государства, искусства, науки».

Розанов выделяет в одном из писем Страхова противопоставление им своего «созидательного» консерватизма толстовскому нигилистическому «новаторству»: «Вы, Лев Николаевич, по натуре больше новатор, а я по натуре больше консерватор. Буду защищать искусство и науку из всех сил против вас, Соловьева и против Николая Федоровича <Федорова>...»

Если бы идейные споры Толстого и Страхова, подчеркивает Розанов, имели отношение только к ним самим, то они заслуживали бы внимание лишь специалистов. Однако эти споры затрагивали важнейшие вопросы русской жизни и вообще человеческого бытия: «Но Толстому и Страхову пришлось коснуться самых центральных, самых стержневых частей *русского исторического развития*, да даже и *устроения цивилизации вообще*, и слова ими произнесенные, имеют величайший интерес и значение для нашего понимания *теперь*, для моего читателя *сейчас*».

Розанов выделяет впечатляющую по силе обобщения формулировку Страховым его восприятия охватившего общества так называемого освободительного движения: «... это движение, которое наполняет собою последний период истории, – либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое, – всегда имело в моих глазах *отрицательный* характер, и отрицая его, – я *отрицал отрицание*. Часто я задумывался над этим и был изумлен, видя, что *свобода, равенство*, эти идолы многих, эти знамена битв и революций, в сущности не содержат в себе ни малейшей привлекательности, никакого положительного содержания...» Кредо Страхова: «Общество держится старыми элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими свои основания».

Вспоминая трехтомный труд Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», Розанов утверждает, что и в нем наш мыслитель озабочен прежде всего нарастающим разрушением духовных основ европейской культуры: «Вовсе не “с Западом” боролся Страхов... а он боролся или “отрицал” то отрицание, то разрушение положительных твердых истории и цивилизации европейской, какие были заложены И. Христом. Заложены греческою философией и римскою гражданственностью. И которые в течение четырех веков новой истории подвергаются всесто-

ронному подтачиванию, критике, ненавидению и разрушению».

Розанов обращает особое внимание на присущий идейной позиции Страхова пафос *созидания*: «Я живу, чтобы *создавать*, а не живу, чтобы *разрушать* и портить»... «И если целая эпоха занимается в сущности разрушением, то я *складываю руки* и не принимаю никакого участия в ее работе и жизни, в ее надеждах и пафосе». Розанов опровергает традиционное понимание консерватизма как «реакции»: «Эта простая мысль Страхова объясняет историческое положение всей так называемой “консервативной” партии в литературе и в жизни, которая вовсе не есть партия застоя и недвижности, не есть партия приверженцев каких-либо лиц, сословий, общественных групп, а есть целый стан людей, целый лагерь людей, не выдающих “последнюю икону на поругание”». Именно утверждение вечных ценностей на фоне все более увлекавшего общество безумного нигилистического движения привело к тому, что Страхов воспринимал себя как «один из трезвых среди угорелых».

Статью «Идейные споры Толстого и Страхова», ставшую своего рода обобщением антинигилистических убеждений Страхова, Розанов заканчивает таким печальным выводом о принципиальном расхождении участников спора: «Страхов не мог не видеть, что Толстой, который начал было с отрицания безрелигиозности общества, – незаметно более и более вовлекается в ту же самую борьбу с положительными идеалами человечества, на защиту которых сам Страхов положил всю свою жизнь».

В статье «Наброски», написанной в 1914 году по поводу выпуска переписки Толстого и Страхова отдельным изданием³³, Розанов еще с большей силой выявляет расхождение между ними: письма Толстого «совсем не интересны в этом томе» – они «слишком кратки, невнимательны и поверхностны». Розанов противопоставляет Толстого, который «в сущности вовсе не учился», глубоко образованному, вечно размышляющему Страхову. В статье делается акцент на личной трагедии Страхова, надеявшегося, что после собственного духовного поворота Толстой силой своего великого таланта «повернет впечатлительные юношеские души от старого нигилистического отрицания к положительному созиданию, положительному устою души». Однако, по мнению Розанова, «Страхов обманулся, – и жестоко.

Толстой сам вышел ... в теоретики-отрицатели, пойдя по старому нигилистическому руслу». «Та “простота и ясность”, которая осеняла Толстого во время писания “Войны и мира”, покинула его под старость в пору начинающейся дружбы с Чертковым, в пору начинавшегося обаяния Чертова над Толстым».

В стилистике этой статьи появляется характерно розановская саркастическая интонация, переключаясь с книгами в жанре «опавших листьев»: «И Толстой ушел... в некоторый вид не только религиозного, но культурного сектанства. “Не нравится не только Бог, но и Шекспир”. “Верю не в Иисуса Христа, а в зеленую палочку и в моего друга Владимира Чертова”».

«Несмотря на глубокую и трогательную любовь к Толстому, – считает Розанов, – Страхов в длинной переписке не подался ни на волос в сторону его отрицаний».

Розанов строит характеристики участников спора на контрастности образов: «Сила и красота Толстого заключались в необыкновенно творческой душе, которая не уставала каждый год и наконец каждый месяц и каждую неделю и всякий день что-нибудь придумывать поворачивать “так и этак” к себе вещи, всматриваться в них, открывать в них новые стороны. Страхов был тихая душа, созерцательная, вдумчивая. От этого Страхов вечно учился и вечно методично размышлял. Между тем в автобиографических рассказах “Детство, отрочество, юность” Толстой передает, что он в сущности вовсе не учился, и серьезно учиться он начал только под старость, думая преобразовать христианство и открыть новые горизонты в политической экономии (в земледелии особенно). Словом, несовместимость вышла огромная в том, что Толстой был в сущности страшно необразован, или, точнее, был образован грубо, криво и в высшей степени дилетантски. Страхов же был *специалистом* в биологии, философии и в литературной критике. Но необыкновенное *личное творчество*, – потоки новых и новых мыслей, пусть недостаточных, но непрерывных и обильных, скрыли от самого Толстого степень его образования, которую он считал “неважной”...» «Переписка Толстого со Страховым свидетельствует о полном бессилии его и о вытекающей отсюда неохоте войти в сложные миры мысли, которые все замесились для него порывами, бурями, бурлением».

Переписка Страхова и Толстого – это удивительно яркий и поучительный документ из исто-

рии отечественной культуры, интересный, прежде всего, как диалог двух незаурядных личностей – творца и мыслителя. Перед читателем предстают два столь разных человека: один – гениальный художник слова, вечно одержимый новыми идеями и настойчивым проведением их в жизнь; второй – может быть, чрезмерно рассудительный и уравновешенный, но очень глубокий и образованный философ и критик, один из умнейших людей эпохи. В былые времена эта книга рассматривалась преимущественно как источник к характеристике Толстого и его окружения. Однако Розанов прав в том, что письма Страхова по крайней мере не уступают толстовским по глубине, искренности и благородству характера. И она послужит хорошим основанием для воссоздания полноценного портрета этого незаслуженно отодвинутого во второй ряд философа и критика, пересмотрю его места в истории отечественной мысли.

По мнению Розанова, в переписке с Толстым раскрылись те черты характера Страхова, которые были не столь очевидны в его сочинениях: «Переписка эта, не имеющая никакого значения для Толстого, или значение – только отрицательное и несколько уничижительное, дает зато несравненный “портрет” Страхова, гораздо полнейший и лучший, чем какой дают его напечатанные сочинения. Страхов еще получит себе со временем “историю”. И переписка его с Толстым будет первым и главным камнем в этой истории».

Так что костромичам, которые вполне могут считать Страхова своим земляком, не следует обходить вниманием этого незаурядного представителя отечественной культуры.

Примечания

¹ Розанов В.В. Литературные изгнанники. Страхов Н.Н. Леонтьев К.Н. М., 2001. С. 237–238, 274–275, 133.

² Розанов В.В. Поездка в Ясную Поляну // О писателях и писательстве. М. 1995. С. 319–323.

³ Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 239.

⁴ Розанов В.В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 174.

⁵ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870–1894 с предисловием и с примечаниями Б.Л. Модзалевского // Современный мир. 1913. № 1–7, 9–12.

⁶ Страхов Н.Н. «Война и мир. Соч. гр. Л.Н. Толстого. <...>» // Заря. 1869. № 1, 2; 1870. № 1 (отд. изд.: СПб., 1871).

⁷ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870–1894 // Толстовский музей. Т. II. СПб., 1914. С. 27.

⁸ Буренин В. Приятельские разговоры. Разговор по поводу «Хозяина и работника» // Новое время. 1895.

№ 6842. 17 марта. С. 2.

⁹ <Михайловский Н.К.>. Десница и шуйца Льва Толстого // Отечественные записки. 1875. Июнь. С. 136. Подп.: Н. М.

¹⁰ Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. 3. С. 118.

¹¹ Лазурский В.Ф. Дневник // Литературное наследство. Т. 37–38. Л.Н. Толстой. М., 1939. С. 476.

¹² Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Т. 62. М., 1953. С. 311.

¹³ Там же. С. 46.

¹⁴ Там же. С. 202.

¹⁵ Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М., 1996. С. 359.

¹⁶ Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 128.

¹⁷ Резетин П.П. Некто Страхов // Энтелехия. 2003. № 7. С. 120–123.

¹⁸ Розанов В.В. К литературной деятельности Н.Н. Стрехова // Новое время. 1902. 22 авг.

¹⁹ Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 52.

²⁰ Первушин Н.В. Н.Н. Страхов – жертва «достоевщины»? // Новый журнал. 1970. Кн. 99. С. 125–138.

²¹ Розанов В.В. Идеиные споры Л.Н. Толстого и Н.Н. Стрехова // Новое время. 1913. 24 ноября.

²² Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 79.

²³ Там же.

²⁴ Стрехов Н.Н. Письма о нигилизме // Русь. 1881. № 23–25, 27.

²⁵ Стрехов Н.Н. По поводу литературных толков о графе Л.Н. Толстом (Психологический этюд) // Вопросы философии и психологии. 1891. Кн. 4 (№ 9). С. 97–131.

²⁶ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Т. 65. М., 1953. С. 286.

²⁷ Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 274.

²⁸ Там же. С. 79.

²⁹ Розанов В.В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 178.

³⁰ Там же. С. 216.

³¹ Розанов В.В. Идеиные споры Л.Н. Толстого и Н.Н. Стрехова // Новое время. 1913. 24 ноября.

³² Розанов В.В. Наброски // Новое время. 1914. 21 июня. С. 4.

³³ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Стреховым. 1870–1894. С предисловием и с примечаниями Б.Л. Модзалевского. СПб., 1914.

Протоиерей Георгий (Горбачук)

ПОРТРЕТЫ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ: В.В. РОЗАНОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ С.И. ФУДЕЛЯ

Воспоминания С.И. Фуделя о В.В. Розанове не столь пространны, как об отце Павле Флоренском. Они представляют собой лишь небольшие вкрапления или мимолетные замечания, рассеянные по ряду его работ. Понятно, почему. Во-первых, Фудель мог более или менее сознательно воспринимать Розанова лишь в последний период его жизни. Фуделю было всего лишь девятнадцать лет, когда Розанов умер. Во-вторых, и это главное, в определенном смысле негативное отношение Фуделя к Розанову было заронено в сознание юноши его отцом, священником Иосифом Фуделем.

Умный и глубоко верующий человек, близкий к последним славянофилам мыслитель, лично знавший многих из них (Иван Аксаков, Третий Филиппов, Федор Самарин и др.), друг Константина Леонтьева и Павла Флоренского, отец Иосиф, конечно, не мог ни принять, ни понять философско-богословских новаций Розанова. Так он настроил и своего сына, который с молодых лет отличался любознательностью и повышенным интересом как к интеллектуальной сфере человеческого духа вообще, так и к идейно-философским движениям современной ему общественной мысли. «Чи-

тали мы тогда, – пишет Фудель, – Тютчева, Блока, И. Анненского, «Три разговора» Соловьева и его стихи, Флоренского, Эрнэ, Эврипида, Розанова, каких-то ранних симвоистов, «Цветочки» Франциска Ассизского, «Древний патерк» и «Луг духовный». Мы не читали Достоевского только потому, что жили вместе с ним, нося его всегда в себе и уже давно его прочитавши глазами»¹ (I, с. 68–69).

По словам Сергея Иосифовича, отец Иосиф не любил Розанова как писателя. «Помню, как-то он сказал мне, увидя у меня в руках «Опавшие листья»: «Не стоит читать – это только и есть что опавшие листья» (I, с. 37).

Едва ли возможно объяснить нелестный отзыв отца Иосифа о сочинениях Розанова личной обидой. Дело в том, что отец Иосиф и сам пытался кое-что писать, издавать, по большей части на общественно-церковные и богословские темы. Между богословием и философией границы всегда были весьма условны. Сам отец Иосиф очень скромно оценивал свои возможности. И если писал что, то больше для церковной пользы, нежели для личной славы. «Так вот, когда Розанов летом 1917 года приезжал в Москву и был у нас, – пишет